

**С**ЕЙЧАС нередко слышишь мнение, что двадцатые годы в нашей литературе были «серебряными», а тридцатые писательское дело резко пошло на убыль, а там и вовсе прекратилось. А казалось бы, разве можно сомневаться в ценности литературы тридцатых годов? Достаточно сказать, что продолжала печататься эпопея «Тихий Дон», хотя самая лучшая — первая книга романа вышла в двадцатые годы, а самая горестная — в сороковом. Блистая историческая проза: «Петр Первый» Алексея Толстого, романы Ольги Форш, Юрия Тынянова, «Дмитрий Донской» Сергея Бородина, «Из Гоши гость» Зиновия Давыдова.

Много больших, весомых романов было создано в эти годы, но их истинную ценность можно установить лишь в наше время, когда вернулся в литературу критерий правды. Были отличные произведения о прошлой жизни, хотя бы «Угрюм-река» Вяч. Шишкова. Многие писатели продолжали разрабатывать ведущие темы предшествующего десятилетия. Старая Россия крепко держала человеческую память — что такое полтора десятка лет на весах вечности? — писатели сводили счеты с прошлым. Пожар Гражданской войны еще горел на лицах, запах степной пыли не выветрился из ноздрей — естественно, что и эта тема перекочевала в прозу тридцатых годов. Становление советской власти, мучительная послереволюционная ломка сознания, трудное освоение новых форм и этических норм бытия не могли исчезнуть из литературы только потому, что на календаре появилась цифра, обозначающая новое десятилетие.

Но когда мы оцениваем литературу определенного исторического периода, то, естественно, предъявляем к ней требование глубокого проникновения в ту действительность, в которой она существовала. Если вся литература уходит в минувшее или обращает мечтательный взор в будущее, не замечая настоящего, то это неполноценная литература. Тридцатым годам вроде бы такого упрека не бросишь, но какие явления текущей жизни охватывались литературной работой?

Не мешает напомнить, что тридцатые годы «заваривались», если так позволено выразиться, в исходе двадцатых, новое десятилетие следовало бы отсчитывать с двадцати восьмого года, когда сталинская рука оборвала НЭП — новую экономическую политику, рассчитанную Лениным «всерьез и надолго», но не сумевшую выполнить своего назначения в силу насильственного прекращения — когда начались коллективизация сельского хозяйства и первая пятилетка. С этого рокового года ведет свое летосчисление великая трагедия советского народа, неразрывно связанная с уничтожением лучшей, трудовой части крестьянства, огульно причисленной к кулачеству. Сюда заносили всех справных хозяев — не пьянь, не лодырей, не «книшброд».

К тридцатому году окончательно рухнул вековой деревенский уклад, исчезло продовольствие в магазинах, опустел рынок, стремительно надвинулся голод, вскоре охвативший всю Украину. Но тщетно искать следы черной народной беды в советской литературе того времени. И проза и поэзия пели успехи первых пятилеток (в четыре года), великие достижения коллективизации, не обошли стороной и «головокружение от успехов» — вот воистину мировой рекорд лицемерия, поставленный Сталиным: зверскую рас-

В наши дни, когда закончился период развития «советской» литературы, закономерно возникает интерес к анализу того, что происходило в нашей изящной словесности последние семь десятилетий. Естественно, что такой анализ доступен, прежде всего, тому, кто сам «съел собаку» на этом проклятом и прекрасном деле, чьи суждения профессиональны, глубоки, неангажированы. Известный российский писатель Юрий Нагибин задался целью создать антологию российского рассказа советского периода. Написаны предисловия, отобраны произведения. Непредсказуемость нашего издательского дела отодвигает выход в свет этого интересного издания. Но «КО» думает, что читателям будет интересно познакомиться с размышлениями Мастера о путях-перепутьях малого жанра России.

Юрий НАГИБИН

## РАССКАЗЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

праву над крестьянством определили как легкий эйфорический перегиб власти на местах, потерявшей голову от невиданных достижений. Осанну сталинской действительности резко нарушил горестный взвон Андрея Платонова — рассказ «Впрок», опубликованный в «Красной нови» и навсегда определивший незавидную судьбу писателя.

Кружили литераторам голову великие стройки: Днепротэс, Магнитка, СТЗ, особенно — Беломорканал, где в небывалом масштабе был применен — причем открыто — рабский труд. Но, обессмертив его толстенным сборником, в котором приняли участие чуть не все лучшие советские писатели, и новой маркой папирос «Беломорканал», власти посчитали дело сделанным и к каналу остыли. Но о других стройках, вошедших в историю как «эпохальные», «героические», «невиданные», звон не прекращался. Неужели впрямь такая невидаль, такое чудо металлургического завода или гидроэлектростанция, что возведение их оправданы все чудовищные репрессии, лагеря, расстрелы?

Неужто другие страны не строили ничего подобного? Но создание фордовского гиганта не стоило ни одной человеческой жизни; чтобы развернуть «империю» Рокфеллеров, Дюпонов, Меллонов, не требовались тюрьмы и лагеря; Аляска отдавала свое золото, не забирая взамен человеческие кости.

Ссылки на отсталость России, отчего якобы понадобились draconовские меры, несостоятельны. Россия до революции имела довольно развитый капитализм, создавший вовсе неплохую промышленность. Достаточно сказать, что к четвертому году мировой войны Россия подошла с достаточным производственным потенциалом, чтобы эту войну победно закончить. И она не пользовалась лендлизом, кормилась своим хлебом.

Но тогдашняя литература анализом не занималась. Она славословила, воспевала на все лады наши достижения, особенно преуспел в этом полезном деле крупный прозаический жанр. С рассказчиками обстояло несколько иначе, они не обязаны были брать за «глобальные» темы. Впрочем, надо сделать одну существенную оговорку. В это самое время Андрей Платонов написал свой гениальный триптих: «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море». Он не славил вождя и его деяния, но раскидывался своим мощным умом, продаваясь в сердцевины явлений, к истине, и рыдал, обретая ее, сухим, рвущим гортань рыданием, он говорил правду, но голос его не был слышен, ибо лишь в наши дни увидели свет названные произведения. Правда, проклюнулся на свет рассказ «Впрок», но его тут же придушили. «Подонки!» — харкнул отец народов в лучшего русского писателя века, и участь Платонова была решена.

Но много ли было таких смельчаков? Нет, очень немного. Это окончательно выяснилось сейчас, когда наша литература, словно оправдывая крылатую

фразу Евгения Замятина: будущее русской литературы в ее прошлом, живет за счет произведений, десятилетиями томившихся в письменных столах или тайных закутах и лишь ныне вышедших на свет божий. Из тридцатых годов их пришло немного. Это великая воронежская поэзия Осипа Мандельштама, «Реквием» Ахматовой, роман века — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, его же «Мольер» и «Театральный роман», несколько рассказов И. Бабеля, прозаические миниатюры Д. Хармса. Вполне вероятно, что в эти годы были созданы и другие замечательные произведения, о которых мы не знаем, ибо вопреки известному утверждению друга поэта-акмеиста Зенкевича, совершившего паломничество на канал, «Зенкевич-Канальский».

И вот какой вопрос возникает. Применимо ли высокое слово «литература» к журнально-книжной продукции, не коснувшейся самых больных точек народной жизни, просмотревшей подмену советской власти диктатурой одного человека, словно не заметившей массовых репрессий, уничтожения деревни, голода, бесправия, перерождения самого вещества жизни? Трудный вопрос! С максималистской — и, наверное, единственно справедливой — точки зрения слово «литература» здесь неправомерно. Но ведь можно и по-другому смотреть на вещи: литература — это не то, что могло и должно было быть, а то, что реально есть. В противном случае надо отрицать и французскую литературу эпохи классицизма: Корнель, Расин и иже с ними пели героев, а где французский обыватель со всеми его горестями и бедами, крестьянин с его заботами, неурожаями, потрами и поборами, где социальная гуляка жизни третьего сословия? Уж, конечно, не в «Комическом романе» Скаррона.

Если судить о той жизни изнутри, а не со стороны, то окажется, что литература во многом ей соответствовала. Да, сажали, почему зря сажали, обычно под покровом тьмы, в самый омероченный час меж ночью и рассветом, да, ломали кости — тайно, об этом скорее догадывались, нежели знали, и даже шептаться боялись, а люди жили, работали не за страх, а за совесть, строили, пели песни, ходили на концерты, в кино и театр (последний был куда лучше нынешнего), валялись на черноморских пляжах, пили вино, знали страсть и ревность, любовь к детям, учились, читали хорошие книги (одна мемуарная серия «Академии» чего стоила!), танцевали, спорили, открывали друг другу душу, даже анекдоты рассказывали, за что нередко садились. Но непосаженные оправдывали аресты (меня-то не взяли, значит, там что-то было!) и при этом не становились подлцами. А кто-то становился, многие становились, но держали свою подлость про себя и не портили картины.

Сейчас каждый нормальный человек гадливо передергивает плечами при слове «Беломорканал», что не мешает курить папиросы с тем же названием, а ведь самые достойные писатели, в том числе неподкупный Михаил Зощенко, считали за честь участвовать в посвященном ка-

налу сборнике. Он, как и мой отчим Як. Рыкачев, представленный в антологии интеллектуальным рассказом «Похороны», свято верил, что стройка исполнена высокого нравственного смысла: перевоспитание трудом, спасение заблудших душ и т.п. Недаром же М. Горький, смаргивая с дряблого века стариковскую слезу, говорил страшному чекисту Фирину и его команде: «Черти драповые, вы сами не знаете, что вы сделали!» Черти драповые знали это куда лучше Горького, но не знали, что сами обречены на скорое уничтожение. А вот всевидящий Осип Мандельштам не поддавался интеллигентскому самообольщению и прозвал своего старого друга поэта-акмеиста Зенкевича, совершившего паломничество на канал, «Зенкевич-Канальский».

Люди, не заставшие те огнепальные времена, не прочь поговорить о совести, против которой грешили «поющие в терновнике». «Где была ваша совесть?» — спрашивают они, когда жалостно, когда с сухим презрением. А правда, где?.. Но тогда этим вопросом никто не задавался. Большинство пребывало в ладу со своей совестью. И этого не понять, если судить людей той поры из нашего прекрасного далека. Лишь те, кто пережил времена апокалипсические, может судить о них. И эти знают, что совесть тут ни при чем. Дело в том, что всякое событие обладает определенной системой координат, вырваться из которых практически и душевно невозможно. Эти координаты создают нечто вроде психологической ловушки, из которой нет хода. Человек теряет сопротивляемость и становится покорен не в силу личного выбора, он как бы растворяется во всеобщей покорности. Так поднимают руки солдаты, попавшие в окружение. Никто ничего не решил для себя отдельно, иному, может, легче погибнуть, чем сдаться в плен, но кругом — лес поднятых рук, и не успевает возникнуть возможность выбора.

Почему в Варфоломеевскую ночь ни один гугенот не оказал сопротивления убийцам, ведь все равно они были обречены? А гугеноты были люди отменной храбрости и воинского умения, воспитанного непрерывными религиозными войнами. Их связывала по рукам и ногам система координат той исторической обстановки. Почему наши военачальники, герои Гражданской войны, привыкшие смотреть смерти в лицо, шли на расправу покорно, как быки на бойню? Их связывала система координат. Только ли страх перед пытками замыкал уста обвиняемых на фальсифицированных зинovieвском и бухаринском процессах? Уверен, что нет. Ведь шли же некогда люди на костер, не отрекаясь от своей правды, отвергнув все обвинения. Но там была иная система координат.

Этим же объясняется и странное хладнокровие, с каким люди тридцатых воспринимали известия о процессах и расстрелах. Сейчас приговор к высшей мере наказания даже заядлого негодяя воспринимается как некое ЧП, а в 33—38-м расстрел следовал за расстрелом, уничто-

жали целыми «отрядами» — партийных и государственных деятелей, руководителей промышленности, крупных ученых, военачальников — народных кумиров, и никто не ахал, не охал. И не удивлялся особо, словно так и положено. Как не удивлялся и тому, что расстреливают вчерашних палачей. И даже не злорадствовали. Одна моя знакомая старушка на вопрос, за что расстреляли ее мужа, заморгала растерянно подслеповатыми глазками: «Как за что? Тогда это было модно». Ну, а с модой, как известно, не спорят. Вдруг брали группу писателей, никак друг с другом не связанных, и опять-таки никто не удивлялся, не заламывал рук, спокойно пил свой утренний чай. А коллеги — и зачастую друзья арестованных — трудолюбиво сядились к письменному столу и писали о любви, о верности, о гражданской и воинской доблести, о великом счастье жить под сталинским небом. Твердь уже не принадлежала ни Богу, ни мирозданию, стала собственностью недоучившегося попа-паранюка. Писали искренне, зачастую талантливо, проникновенно. И опять-таки этого невозможно понять вне системы координат того времени.

Взяли Мандельштама... Бабеля... Зарудина... Корнилова... Берггольца... Мейерхольда... А Платонов пишет чудесный рассказ о деревенских детях «Июльская гроза», Владимир Козин — нежные рассказы о любви, В. Ковалевский — пронзительного «Глеба», и все это оказывается нужным читателям, чей интерес, казалось бы, должен иметь совсем иное направление. Сила жизни, всепобеждающая сила жизни и охота целоваться — хоть земля провалилась! — равно движет и писателями и читателями. А система координат успокаивает совесть, избавляет от чувства стыда перед гонимыми и убиенными.

В исходе тридцатых в «стол» уже никто не писал, даже Андрей Платонов. Если же что-то и оставалось в столе (повесть «Джан») — то не из-за бунтарской смелости писателя, а потому что его вообще не хотели печатать. Сам же Андрей Платонов измучился до того, что в одном из рассказов назвал Сталина «большим и добрым», но ему это помогло не больше, чем Мандельштаму, — его злосчастное искательное стихотворение о том же добряке. Платонов старался не ради себя, ради сына Тошки, красивого пятнадцатилетнего мальчика; посаженного в 37 году за «контрреволюционную агитацию».

Человек «не оттуда» может сказать: зачем придумывать какую-то мистическую «систему координат», когда правил вами всеми простой страх. Я бы и сам предпочел это немудреное объяснение бархатным в мутной жиже каких-то невыговоренностей, неопределенностей. Но это не так. Страх был конкретен, он наступал, когда снаряды рвали рядом — брали друга, родственника, сослуживца, соседа. Тогда наступал кошмар ночей и томление дня, но тебя не трогали, и страх утихал. Нашу бодрость кормили: вера — несмотря ни на что, плохая информированность, ведь мы питались слухами, ничего не зная наверняка, а слухи, как правило, противоречивы, сбивчивы, неполны и всегда оставляют щель надежде, и главное — комплекс отца. Всевидящего, всезнающего, мудрого и заботливого отца, который снимает моральные обязательства со своих послушных детей — это огромное душевное удобство в смятенные времена. Как чудесно скинуть с себя всякую ответственность, не томиться даже самым слабым грехом совен-

ного соучастия, коль находится некто, кто берет на себя все. В этом причина успеха таких монстров, как Гитлер и Сталин. В ряду жизненных импульсов страх занимал едва ли не последнее место.

А вообще, если б человек был лишен мощной самоохраняющей силы, незримой оболочки, защищающей его хрупкую психику, а оболочка эта куда толще и плотнее слоновьей кожи, он каждый день впадал бы или в душевную прострацию, или в испепеляющий гнев, захлебывался слезами или выбирал между самоубийством и монастырем. Потому что каждый день — даже без Сталина — случается что-то страшное: землетрясение, оползень, тайфун, цунами, от чего гибнут сотни, тысячи, десятки тысяч; в мире всегда идут две-три бессмысленные войны, уносящие сотни тысяч жизней, не говоря о локальных стычках, террористических актах и кровопролитиях на религиозной почве; что ни день, похищают детей, насилуют малолетних, отнимают вечность у вечных ценностей, кончают самоубийством (причина — наркотики, алкоголь и почти никогда — любовь), ко всему еще появился СПИД, что ужаснее чумы; человечество охвачено небывалой садистской жестокостью, прибавьте к этому социальную несправедливость, апартеид, национализм, антисемитизм, гангстеризм, мафию, рэкет и кровавые футбольные страсти — вот картина сегодняшнего бытия. А мы ничего — живем, ходим на выставки, в кино, торчим у телевизора, сплетничаем, плодим себе подобных, ничуть не смущенные окружающим вселенским распадом и грядущим глобальным уничтожением. Разница между сегодняшним состоянием мирового здания и сталинщиной лишь в том, что последняя осуществляла свой потенциал на ограниченном пространстве, хотя и немалом (1/6 часть суши), и потому была концентрированной, гуще, в моральном же смысле существенного различия нет. Тогда — застенки, расстрелы, Колыма, Воркута, Карельские лагеря, смерть искусства, постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», «поток приветствий», сейчас Садам Хусейн, растерзанный Ливан, обездоленные палестинцы, Карабах, Чернобыль, африканские засухи, в недалеком прошлом полпотовский геноцид, но и тогда и сейчас мы — к телевизору, за книжку, на танцплощадку, в музей, на стадион, к бутылке, в обьятия...

Я не хвалю — боже упаси! — и не оправдываю то время. Но мы жили, и все человеческое было при нас. Тем, кто не знал наших мук и нашей бедной стойкости, нечего перед нами заноситься. Сперва положите руку в огонь, посмотрим, у кого окажется больше стойкости.

Поговорив о парадоксе времени (парадокс для наших дней, само время ничуть не ощущало своей парадоксальности), вернемся к литературе. Так была или не была литература в тридцатые годы? Была. И даже хорошая литература, пусть и лишенная искусственно лучших творений Платонова, Булгакова, Мандельштама. Если б они появились своевременно, то тридцатые стали бы золотым десятилетием в нашей словесности. Но и без того они дали немало. Литература тридцатых была и в наизидание, и в научение, и в утешение печали, и в радость, и во спасение человеческого сердца. И неотъемлема от этой литературы отличная новеллистика.

Прежде всего — малая проза Андрея Платонова. В тридцатые годы появились «Река Потудань», «Третий сын», «Июльская гроза», «В прекрасном и яростном мире», «Среди животных и растений», «Семен», «Фро», начало повести «Джан» в виде рассказа. Господь простил погрязший в грехе город ради одного праведника, но в тридцатые рядом с Платоновым стоял Михаил Зощенко, несравненного дара рассказчик, расцвел тонкий и нежный талант Владимира Козина (в исходе десятилетия его раздавили, не лишая свободы); отличные рассказы выходили из-под пера Ивана Катаева, Николая Зарудина, Николая Тихонова; Ивана Соколова-Микитова, Сергея Колбасьева. Промелькнул метеором странный, ни на кого не похожий Леонид Добычин, как-будто стеснявшийся слов и потому цедивший их сквозь зубы, а рассказы горели самоцветами. И старая гвардия не сдавала позиций: блеснула превосходными рассказами Лидия Сейфуллина, не тупело новеллистическое перо Бориса Пильняка, Владимира Лидина, Вячеслава Шишкова, Валентина Катаева, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Появились и новые имена: мастера сюжетной новеллистики заявили себя Сергей Диковский, Марк Волосов, Сигизмунд Кржижановский, тонкими психологами — Николай Атаров, Вячеслав Ковалевский и два молодых писателя, объединившихся под псевдонимом Тихон Булавин. Иван Меншиков открыл читателям почти неведомый север с оденями, юртами, нартами, шаманами и преданными девушками с реки Сюррембой-Яга, Леонид Соловьев приблизил к нам Среднюю Азию, равно как и Владимир Козин, а Олег Эрберг — Афганистан. Расширили новеллистическую географию Борис Лапин и Борис Горбатов — неумоимы: путешественники.

В начале тридцатых ушел великий романтик Александр Грин, но свято место пусто не бывает. Романтическая нота сильно зазвучала у другого писателя, строившего из другого материала, нежели автор «Алых парусов», но в своих рассказах схожий с ним по интонации; он возводил в них советские города, но они напоминали Зурбаган, а жители их толкали мысль не к соседу Ивану Ивановичу, а к благородному Грею или страдальцу Гнору. Я говорю о Константине Паустовском, завоевавшем уже в тридцатых громадную популярность у читателей.

В те же годы заявил о себе в полный голос и большой прозой и рассказами, которые, на мой вкус, были лучше эпозей, один из талантливейших наших писателей Василий Гроссман.

Литературу, а следовательно, и новеллистику можно мерить по ее вершинам. Но гении редки во все времена, более показателен средний уровень, в тридцатые годы он был как никогда высок. Мне не хочется называть имен, пусть читатель разберется в этом сам, но, полагаю, он будет доволен знакомством с писателями, чья известность не вышла за пределы рамок их времени. Впрочем, Леонида Добычина забыли очень скоро, что не мешает ему оставаться явлением исключительным. Известность писателя далеко не всегда служит гарантией его ценности. И наоборот.

\* Сказанное относится и к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

## Из литературного запаса «КО»

### Станислав СЛАВИЧ НЕВЕЗЕНИЕ

**В**СЕ было хорошо до пятидесяти третьего года. Сюртуков давал 105 процентов, получал зарплату плюс прогрессивку и полевывал в потолок. Но не зарывался, не позволял одолеть себя жадности. А то бывают глупцы — сегодня полторы нормы, а завтра — приветик, расценки опять срезали. Нет, больше 105 выжимать нельзя. Надо жить с перспективой.

А потом Сталин умер. Сначала все катилось по-прежнему. Сверху большие портреты Ленина и Сталина, а внизу чуть поменьше — слева Берия, в центре Маленков, а справа этот Хрущев.

На первых порах понадобилось даже еще больше портретов Сталина. В апреле пятьдесят третьего Сюртукову пришлось работать сверхурочно и поневоле изменить правило — дал 120 процентов плана.

Приходил на работу за час до начала, разлиновывал холст на клетки и вкалывал без перерыва до самого вечера. Он мог даже не смотреть, да и не смотрел почти на фотоснимок-образец, приклеенный рядом. Руки сами делали свое дело. В мундире, в шинели, в простой наглухо застегнутой куртке, в фуражке и без оной... Под каким только гарниром Сюртуков не подавал Сталина!

А потом рыночная конъюнктура изменилась. Произошло это, правда, не сразу. Сюртуков перешел на свой обычный ритм (105 процентов), когда директор однажды сказал:

— Затоварились мы что-то Сталиным...

Прозвучало это как упрек. Кому?

Вот тогда Сюртуков и почувствовал впервые смутное беспокойство.

Случайность? А шут его знает! Что-то больше стали говорить про коллективное руководство, про партию, а про Сталина — меньше. Партия, мол, наш рулевой.

...Никогда не забыть производственного совещания, где по новой делили портреты. Крики, визг... Было это в мае того же пятьдесят третьего.

— Ишь ты, Берию ему захотелось! Хватит, нажил на Сталине!

А между прочим, что плохого, если Сюртукову действительно захотелось Берию? С точки зрения творческой вполне понятно — тот же привычный восточный тип. И опять-таки личные чувства для портретиста имеют немалое значение, а Берия нравился Сюртукову. Такому, думал он, палец в рот не клади. Ого-го-го!..

Черта с два. Ни Берию, ни Маленкова не дали. Из жадности и зависти. Спасибо, вмешался директор — Сюртукову выделили Хрущева. На тебе, боже, что мне, мол, негоже. Дело в том, что руку на этом Хрущеве тогда еще никто толком не набил, и на всех Никитиных портретах выпирала бородавка на носу. Будто она в нем самое главное.

«Разве это типаж для вождя?» — думал Сюртуков, берясь за новую работу. Трудно было. Как ни старался, что-то пробивалось в портрете прежнее. Против воли само вылезало. Ну прямо наваждение! Так и тянуло усы подрисовать...

А потом вылезли из газетных подвалов разговорчики про культ личности. Имени «личности» сначала не называли, но Сюртуков то не дурак — сразу понял, чем запахло. Да и то: одна была личность в России, каждый видел. А там — XX съезд, и подначки со-служивцев...

Когда же на него стали смотреть так, будто это он велел расстрелять Тухачевского, Якира и весь XVII партсъезд — съезд победителей, когда в глаза ему стали говорить: «Ну, что теперь скажешь про своего Сталина?» — Сюртуков запил.

Кончилось это, чем обычно кончается: на собрании объявили выговор с занесением, а на бюро райкома, узнав, в чем дело, подняли на ступеньку выше — ввели строгача. Как раз началась очередная кампания за здоровый быт и против пьянства.

Однако шло время. Не стало Берии, дали по шапке Маленкову, Кагановичу и даже Вячеславу Михайловичу. Чуть ли не всей мастерской пришлось перекалываться на портреты каких-то раньше никому неизвестных людей.

А Сюртуков-то опять в дамках. Нет, он не злорадствовал — был выше этого. Но бородавку у своего Никиты совсем почти убрал, оставил этукую едва приметную шишечку. Понял: пришло время. Директор заметил это, ничего не сказал, но на ближайшем отчетно-выборном горячо рекомендовал тов. Сюртукова в партбюро.

Этот Никита оказался не дурак. Пожалуй, на его портрете, прикидывая Сюртуков, можно будет и до пенсии дотянуть. Оставалось-то не так уж и много.

И вдруг — пожалуйста. Не дотянул.

Сейчас Сюртуков опять пьет. С работы его тоже вышибли: не смог освоить новую специфику — стартовал все-таки стал. Малюет теперь вывески.

Недавно мыслись мы с ним вместе в бане. Какие-то охломаги, босякия разукрасили его по пьяной лавочке татуировками. На ногах выколото: Они устали, а чуть пониже спины — Нет в жизни счастья.

Действительно — не везет человеку.

1965 г.

## Перед выходом в свет

### ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КУТЕПОВА

Издательство «Патриот» готовит к выпуску художественно-документальную книгу Святослава Рыбаса и Ларисы Таракановой «Похищение генерала Кутепова». Это первая в нашей стране литературная биография боевого командира, возглавлявшего одно время **Российский Общевоинский Союз**. Исчезновение 26 января 1930 года Александра Павловича Кутепова (род. 16 сентября 1882 года) с политической арены — история, до сих пор полная загадок и неясностей. Свою версию этого и излагают авторы. Одного из них мы попросили рассказать о главном герое книги.

Выход издания предполагается во втором квартале будущего года. Сейчас на него можно сделать заказы в книжных магазинах. Объем — 19 печатных листов, включая иллюстрации. Предполагаемый тираж — 50 тысяч экземпляров. Отпускная цена издательства 64 руб.

**К**ОГДА Господь выбирал судьбу Александру Павловичу Кутепову, он, должно быть, решил, что этот смертный будет героем. Кутепов с детства следовал своему предназначению. Он воевал на трех войнах, потрясал врагов, основал российскую государственность на берегу Дарданелльского пролива рядом с турецким Константинополем, вел непримиримую борьбу с контрразведкой Лубянки, был похищен в центре Парижа и бесследно исчез.

Его имя стало знаменитым среди белых в самом начале гражданской усобицы, когда он был назначен командиром Корниловского полка. Тогда их была горстка, и все, павшие во время Ледяного похода и уцелевшие, стали, пожалуй, знаменитыми, но Кутепов тем не менее выделялся и среди них.

Вскоре, после гибели генерала Маркова, Кутепов становится командиром Первой дивизии, в которую входили офицерские полки, цементующие белую армию, — Корниловский, Мар-

ковский, Алексеевский, Дроздовский. С этими частями он прошел крестным путем белого офицера, оставаясь во главе их в дни московского похода, когда были взяты Харьков, Курск, Орел, когда золотые купола первопрестольной казались совсем близко, и в дни отступления, катастрофы Новороссийской эвакуации, врангелевского похода из Крыма в Северную Таврию и исхода в Турцию.

В полуразрушенном турецком городке Галлиполи на берегу Дарданелл он возглавил Русскую армию, сведенную в корпус. Десятки тысяч измученных, изверившихся воинов уже ничего не ждали от жизни. Для многих смерть казалась наилучшим выходом. Борясь с разложением армии, он не останавливался перед самыми жестокими мерами. Сначала его боялись и ненавидели, потом — уповали, как на единственную надежду. В Галлиполи появились православные церкви, гимназии, газеты, театр, технические курсы, спортивные кружки, детские сады.



После Галлиполи армия была преобразована в Российский Общевоинский Союз (РОВС), который объединил все белое движение. Кутепов стал его председателем. Он продолжал борьбу с большевистской Россией. Десятки молодых офицеров переходили границу СССР, организовывали диверсии, теракты. Кутепов понимал, что эта борьба не может не ослаблять Отечество, но не прекращал своей деятельности.

В такой обстановке среди эмиграции выростала потребность через сотрудничество с Советской Россией осуществить на ней необходимое патриотическое воздействие. Некоторые шли даже на сотрудничество с ГПУ, желая помочь своей Родине отстаивать ее геополитические интересы. Увы, этот патриотический порыв был подобен попытке замостить пропасть своими телами.

В этой книге будут и страшные, и возвышенные страницы. Она выходит в дни новых потрясений и раскола нашего общества, когда многие ищут в истории ответы на сегодняшние вопросы. Полная противоречий и трагизма жизнь Кутепова — еще одна попытка найти их.

Святослав РЫБАС.